

ДОСТОЕВСКИЙ: СОПРИЧАСТНОСТЬ
ХУДОЖНИКА

Поистине, мы воспринимаем Достоевского как современника сейчас, когда его романы выходят регулярно и когда американские читатели получают следующую его книгу каждые несколько месяцев. Говорят, что шестьдесят лет назад воображение наших дедушек и бабушек подогревалось ожиданием очередного выпуска романов Диккенса или Теккерея. Я способен ощущать подчас нечто подобное их нетерпению, ожидая книги Достоевского, хотя не думаю, что этот великий русский писатель когда-либо станет у нас популярным классиком. Однако переход от Диккенса к Достоевскому — симптом того, что американское воображение раздвигает свои пределы. Мы вышли значительно дальше в открытое море, чем отваживались предки. Мы более неосмотрительны в наших личных взаимоотношениях и лучше понимаем сбивающее с толку разнообразие человеческих натур. Если вас хоть однажды затронул Достоевский, вы уже никогда не вернетесь к той старой классической литературе, на которой были воспитаны. Отсутствие оттенков, ужасная обыденность ее героев начинают угнетать. Если хотя бы раз вы восприняли «образ» как живой, хоть однажды ощутили зловещий и гротескный выверт человеческого мышления, сложное переплетение впечатлений и страстей или грубое насилие обстоятельств, вы обнаружите — если сознательно не приняли меры предосторожности, — что испытываете нечто вроде жалости к Скотту и Бальзаку, к Диккенсу, Теккерею и Треллопу, бывшим некогда авторитетами между художниками, изображавшими жизнь для наших родственников из среды средней буржуазии. Вы будете относиться к подобной литературе как к искусству кинематографа, с его четко расклассифицированными эмоциями и способностью «регистрировать» только элементарные настроения.

Конечно, неуважение к прежним романистам будет несправедливо, так как и они изображают поразительное разнообразие типов, обнаруживая глубокую интуицию в понимании основных движений души. Творчество Диккенса изобилует образами иррациональных людей и описаниями нетрадиционных сторон жизни. Однако едва ли можно оспорить мое мнение, что и сам Диккенс, и его читатели всегда воспринимают эти его человеческие образчики как чудаков. Сила его эмоционального воздействия как раз и заключается в той веселой несерьезности, с которой мы относимся ко всем этим отклонениям от нормы, и в тех слезах, которые

мы можем пролить, сострадая человеческим существам, столь несомненно отличающимся от обычных людей. Читая книги знакомых романистов, мы никогда не теряем наши прежние нравственные ориентиры, и сколь бы ни были серьезны отклонения героя от нормы, мы всегда сознаем — или можем сознавать, если нам угодно, — точную меру этого отклонения. Очарование художественной литературы XIX века, как и творчества поздних викторианцев вроде мистера Честертона, кроется в этом дуализме разума и безумия, добродетели и злодеяния, честности и обмана, ответственности и безответственности. В этом дуализме нет никакой фальсификации. Эти романисты писали для эпохи, которая действительно имела устойчивый «характер», стандарты и нравственные убеждения, которая неуклонно видела мир с точки зрения противоположности духа и плоти. Эти романисты отражали мышление класса, которому в самом деле были свойственны сдержанность, альтруистические представления и религиозные взгляды.

Достоевский привлекает нас сегодня потому, что мы пытаемся покончить с этим дуализмом, и наша высокая оценка его и других современных русских писателей — это знак, указывающий, насколько мы продвинулись вперед в данном отношении. Все еще принято называть эту литературу нездоровой, патологической, вредной. А это означает, что демократическое, монолитное, интенсивно чувствующее и жизненно активное мировоззрение столь неожиданно и сильно шокирует интеллект, оперирующий старыми дуалистическими категориями, что оно представляется ему почти отталкивающим. Тем не менее абсолютная современная нравственная чистота и здоровье Достоевского становятся все более и более очевидным для его читателей. Он здоров потому, что не знает никакой границы между нормальным и ненормальным и даже между разумом и безумием. Мне этот подход кажется здравым потому, что он особенно благодетелен для нашего американского воображения, которому необходимо освободиться от напыщенных и предвзятых представлений о человеческой психологии. Я допускаю, что встряска несколько грубовата и болезненна. «Идиот», прочитанный мною только однажды, запечатлелся в моей памяти как вереница совершенно непонятных мне людей и смелых настроений. И все же я чувствую, что, перечитав роман, я пойму его, ибо Достоевский обладает неожиданной внутренней силой воздействия, пробивающей наши аккуратные душевные перегородки и показывающей, насколько более запутанно и непоследовательно течет жизнь, чем можно представить это, занимаясь самоанализом. Однако, несмотря на всю его сложность, Достоевский — антипод сколько-нибудь болезненного самокопания. Его творчество — полное, согретое теплом единство эмоций, свойственных всем нам, при анализе которых не теряется ни одно из мельчайших движений души.

Думаю, что Достоевский действительно добивается этого поразительного эмоционального слияния с читателем. Именно оно придает внутреннюю силу, выделяющую каждое его произведение из всего когда-либо нами прочитанного. И в этом он вновь

противостоит классическим романистам, ибо они совершенно очевидно отстраняются от своих героев. Вы никогда не забываете об авторе в роли повествователя. Он всегда с важным видом главного кукольника и режиссера дает свое представление. Его образы могут быть бесконечно теплы и человечны, однако сам автор каким-то образом находится вовне. «Грозовой перевал» — это единственное произведение на английском языке, которое я могу вспомнить как имеющее нечто общее с горячей, всепоглощающей страстностью Достоевского. Читая великого русского художника, вы начисто забываете о режиссере. Писатель растворяется в своем произведении, он безвыходно вовлечен в него. В повествованиях типа «Двойник» или «Бедные люди» эта сопричастность доведена до предела. Произведение, кажется, само рассказывает себя. Неожиданная, сокровенная интимность настроений писателя точно передает каждый поворот и завиток мысли и чувства. Его ритм повторяет ритм нашей внутренней жизни с ее бесконечным стремлением проникнуть в тревожное будущее и с ее грузом неразрешенных проблем прошлого. Эти произведения воспроизводят колеблющуюся синусоиду нашего сознания с его депрессиями и мгновениями радости, его постоянной необходимостью самоконтроля, его тревогами. В романах Достоевского соучастником оказывается не только сам автор: они поглощают также и читателя. Прочтя «Преступление и наказание», вы сами становитесь убийцей. Многие дни вы носите с собой ощущение вины. Фантастические сцены «Двойника» преследуют как эпизоды вашего собственного очень яркого сна.

Такие произведения, сколь ни фантастичны проблемы, в них затронутые, глубоко задевают. Мы не можем ни игнорировать их, ни отнестись к ним легкомысленно. Их нельзя читать для развлечения или хотя бы в спокойствии душевном, как мы читаем наших классиков. Мы забываем наши категории, наши стандарты, наши обыденные представления о человеческой природе. Мы чувствуем лишь, что следим за течением самой жизни. Достоевский настолько погружен в свои произведения, что мы не замечаем, как он относится к собственным героям, как оценивает жизнь. И лишь впоследствии, прочитав роман, получаешь впечатление сердечной доброты писателя, порожденной страданием и чувством собственного несовершенства, а также истинно благоговейным отношением ко всем проявлениям бытия. Герой Достоевского — это человек, по колени увязший в грязи бытия, но со взором, обращенным к звездам, единый плотью и духом, сердцем и рассудком! Если мы достаточно окрепли, чтобы услышать голос писателя, то поймем, что именно он необходим для расширения художественного кругозора американцев.

1917 г.